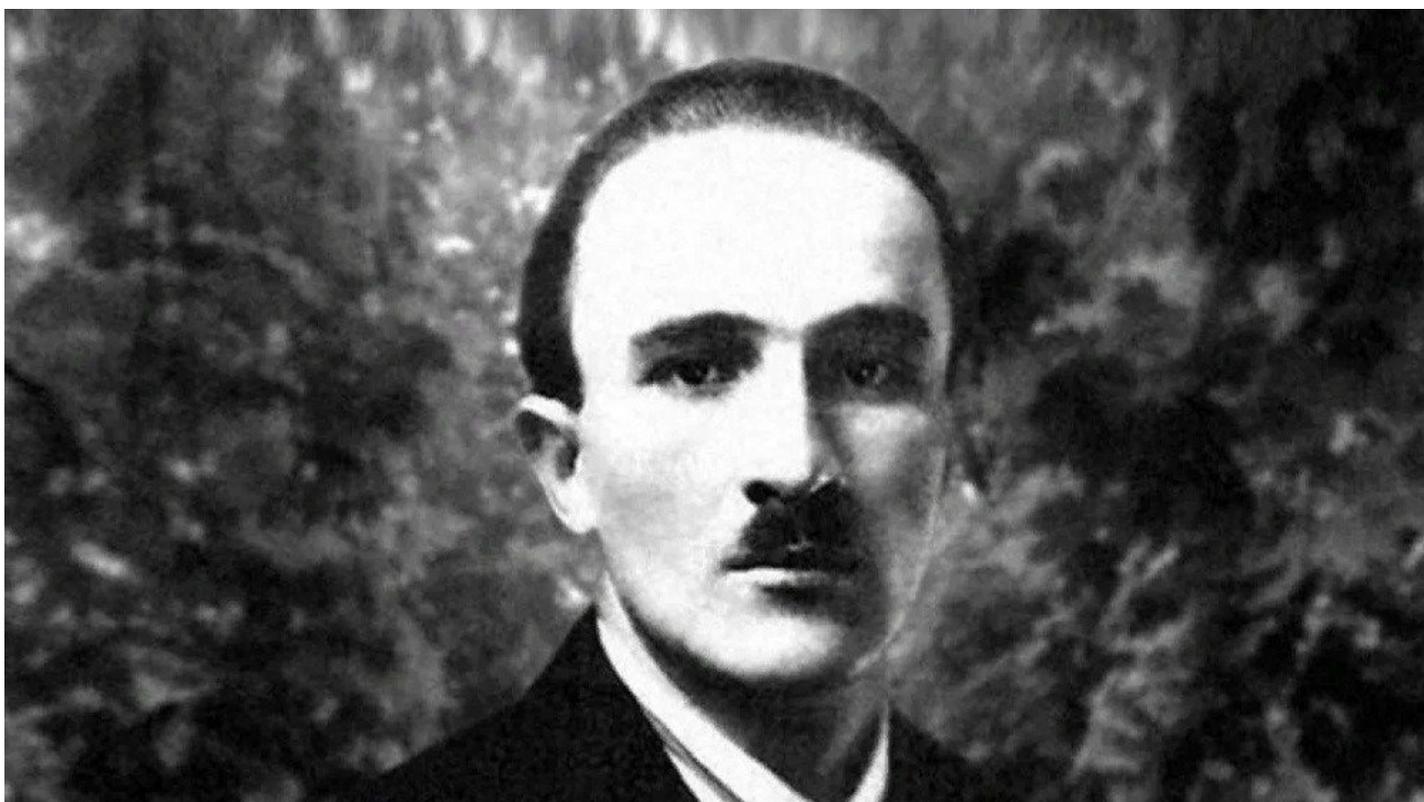




«Молодости у нас нет, мы колоссально ограблены судьбой»

Проза писателя-белоэмигранта Ивана Савина мучает читателя и сегодня, через 100 лет после того, как он писал её в Гельсингфорсе



Иван Савин. Архивное фото

17:11, 21 февраля 2024,

Алексей Поликовский

обозреватель «Новой»

полную версию материала со всеми мультимедиа-элементами вы можете прочитать [по этой ссылке](#) или отсканировав QR-код →



Иван Савин — в одном из немногих сохранившихся писем он по-детски называет себя Ваня — окончил гимназию в родном Зенькове и прямо с гимназической скамьи вступил добровольцем в Белую армию, в кавалерийский полк. С этого дня был на войне и сидел в седле днём и ночью, в солнцепёк и под дождём, в разведках и в атаках, когда летящий воздух захлёстывал лёгкие и в странном восторге рвался не из груди, а из души крик. «Я крикнул товарищу: «Слушай, Давай за Россию умрём».

Оставил всё — милый дом, маму, сестёр и девушку Шуру, которую любил. Она «ослепительно ласковая и такая родимая, что с Ней — все утраты, всё бешенство наших дней, все невзгоды, пытки — ничто». Каждый день войны помнил о ней и ждал встречи с ней, нежной, сияющей.

Летом 1919 года он в Харькове.

«А вот это осталось и жжёт: бурлящие улицы Харькова летом девятнадцатого года, кричащие пятна сытости, богатства, воскресного мотовства, а на углу, на всех углах — стыдливо протянутые руки инвалидов. Если снарядом или ножом хирурга оторвана рука, — к груди приколата выцветшая английская фуражка, почти всегда пустая. Если шрапнелью или красноармейским штыком размозжён рот, на потрёпанном френче, рядом с Георгиевским крестом, колышется плакат с робкой надписью: «Помогите инвалиду. Ранен в бою с большевиками тогда-то».

Иногда, почему-то поверив благородству спасённых их ранами

людей, искалеченные солдаты и офицеры приписывали к плакату пугливую, детски-беспомощную фразу: «Я ведь боролся за Вас».

Но не подают им, мало подают. Проходят, отвернувшись, словно не замечая.

Сквозь безразличие обывателя движется маленькая Белая армия в разваливающейся, одичавшей России.



1919. Вступление Добровольческой армии в освобождённый Харьков. Архивное фото

Зимой отступление. Длинным воинским эшелоном их перебрасывают в Крым. В теплушке 70 человек и ни одной

лошади. По пути в консервной жестянке варили невкусный кофе и слушали, как в ночи, скрытые в темноте, гудят мягким рождественским звоном церковки в невидимых деревнях. 31 декабря в Симферополе в буфете на вокзале он выпил с братьями за Новый год: чокнулись грязными стаканами с тёплым пивом. Расстались, и больше он их никогда не видел.

Старшего брата Бориса зарубили под Каховкой. Младший, Николай, погиб в бою. Ещё двух братьев, артиллеристов, расстреляли. Сёстры Нина и Надежда умерли: одна — в Каире, другая — где-то в России. Мама тоже умерла. «Когда мама умерла от голода, я начал нелепо улыбаться и как-то глупо ерошить волосы». Вот и всё.

В плен Иван Савин попал в Джанкое, откуда ушла отступающая Белая армия, а он идти не мог и больным остался в лазарете. Узнав, что в город входят красные, вместе с приятелем, раненным в ногу, отправился на вокзал. Шли, поддерживая друг друга, два инвалида. Они залезли в теплушку и ждали, что поезд увезёт их, но поезд никуда не пошёл. Теряя сознание, в лихорадке, держась за стены, падая, ползком по грязи он вернулся в госпиталь. А товарищ его остался — не было сил на одной ноге прыгать назад. Утром его нашли в теплушке — убит ударами прикладов в лицо. Потом на лицо помочились.



Белая эмиграция. 1920-е годы. Архивное фото

Грязные камеры, набитые людьми, здания гимназий с выбитыми окнами, где узники в классах жгут стулья и парты, чтобы согреться, непрерывные допросы, анкеты, фильтрации. Он проходит один отдел ВЧК за другим. В толпе пленных, половину из которой расстреляют в ближайшие дни, всегда есть шутники, они называют отдел ВЧК «овечка». Что он там видел, в застенках «овечки»? Приметы этого разбросаны по его рассказам. «Исцарапанная пулями камера». Значит, в камере расстреливали.

Расстрел он описывает с такими подробностями, словно и его тоже водили к яме, босого, с лопатой на плече. А может, и водили? В его пьесе есть очень короткий и очень примечательный диалог. «Грен. Вас ставили когда-нибудь к стенке? Лесницкий. Ставили, два раза. Грен. Да, это не забывается». Лесницкого, которого дважды водили на расстрел и который в конце пьесы кончает жизнь самоубийством, в любительской постановке Савин играл сам. Судя по немногим рецензиям, играл замечательно.

«Дроль нёс две лопаты — свою и Елены, копал могилу на двоих. Елена с перекошенным лицом сдавила ему горло обеими руками, мешая рыть промёрзлую землю. Дроль покачнулся немного и шепнул, баюкая кого-то нелепым тенором, — последний раз в пустой бочке прохрипела струна:

— Ну, разве можно бояться, девонька моя?.. Ну, разве надо?.. Я люблю тебя... я же здесь...

Четыре пули с коротким стуком врезались в Дроля. Он устоял над могилой, прикрывая обезумевшую Елену. Пятая свалила его в яму. Шестая раздробила локоть Елены, седьмая — голову...

Нелюдимо закричало эхо. Передний красноармеец поднял винтовку и с размаху ударил по волосам спелой ржи.

— Сдыхай! Орёт ещё тут... — И, повернув голову назад, спросил сердито: — Усе?»

В Мелитополе пленных выпускали два раза в неделю на улицы — собирать пропитание. Голые, босые, куда они убегут из города, где патруль на патруле? «С каждым днём всё труднее наш горький промысел: больно уж нас много здесь, тысяч двадцать. До поздней ночи, босиком в снегу, ходишь, а принесёшь «домой» — две-три корки». Там рядом с ним полковник, написавший в анкете, что он старший писарь. А себя он записал умышленно корявым почерком: «деньщик командира полка». Полковник, пока его гнали в колонне пленных из Таганрога в Мелитополь, всё время молчал: во рту

сохранял золотые часики. Теперь выменял их на молоко.
Горькое молоко!

Сколько их, «распятых на русском кресте?» Сколько их, избитых, окровавленных, роющих себе могилы, раздетых догола, расстрелянных в камерах с исцарапанными пулями стенами и на кладбищах, сколько этих мучеников плена, каждый из которых отпечатывается в его больной, лихорадочной памяти, отпечатывается в ужасных подробностях и навсегда? Его миновала эта участь — прошёл в плену между смертью и смертью.



Иван Савин. Архивное фото

Начинается его медленный путь через Советскую Россию с юга на север, через провинциальные городки в Петроград. Кого только не видит он на этом пути... Старик в теплушке, бывший народоволец, глотает сухие дрожжи и запивает их водой.

Быстро пьян. «Собственный винокуренный завод, изготовление водки домашним способом». Старший унтер у пулемёта, отмахиваясь от летящего в лицо снега, читает наизусть второе Послание к иудеям. Толпа барышень в дважды перелицованных платьях. Девушка с тонкими пальцами, дочь полковника Добрармии, теперь носит кожаную куртку, синюю юбку и маузер на поясе без кобуры. И длинную связку желтоватых чёток, выточенных из кости. Из человеческой кости.

Вдова ротмистра Белой армии с брильянтами в ушах и белым шпирцем на поводке (у шпирца красный бант на шее) идёт в загс с командиром дивизии Красной армии (у того золотая лира, вышитая на рукаве английской шинели, и шпоры), собственноручно расстрелявшим её мужа. А лицо у неё — красивое, наивное, прекрасное.

Как тайна за семью печатями, лежит в его мозгу план — бежать из Совдепии через границу с Финляндией. А пока он, вражина белогвардейская и недострелянная контра, побывавшая в шести ЧК, должен замолчать, затаиться, служить мелким писарем в канцелярии, ходить на собрания, поднимать со всеми руку и слушать ту беспримерную чушь, которую несут с трибуны руководители партячек. Вот Марья Егоровна читает в профсоюзе ломовых извозчиков доклад о равноправии женщин Востока. Доклад о текущем моменте делает полуграмотный Сидоркин:

«гидр контрреволюции поднял голову над самостоятельностью классовых противоречив...»
Партфункционер, на животе которого брелок, прежде принадлежавший местному помещику, говорит долго, к нему у Савина один вопрос: «Как можно с помойной

ямой в душе и непечатным словом вместо совести не только играть роль борца и пророка, но и, вопреки логике, обязательной даже для негодяев, понемножку начать верить, что я, мол, действительно борец и пророк?»

Молча, тая в себе самого себя, смотрит он на осквернённую Россию. «Под нашими ёлочками — окурки, разбитые бутылки, рвота и грязь. Там, где золотыми пчёлами прожужжали наши детские годы, теперь городской сад. А в доме вашем — «камсамольский клуб».

Как он их ненавидит и как презирает! «...следы грязных пальцев на краях билета — примета истинного коммуниста».

Его изображения советской жизни похожи на карикатуру. Но тот, кто жил в СССР, пусть и в другие времена, знает, каково это — жить в карикатуре.

Сразу бежать нельзя. Надо затаиться, «провисеть в пространстве». Но вот за спиной остались провинциальные городки и «некогда прекрасный город некогда прекрасной страны» — истончившийся от голода Петроград. Меняется запись в его деле. Было — «бывший врангелевец», стало — «дезертир».



Белая эмиграция. 1920-е годы. Архивное фото

Там, в СССР, — дезертир, тут, в Финляндии, — эмигрант. Жизнь изгнанных русских перед его глазами: «дома, в убогой, нетопленной комнатке три голодных рта, жена, к тридцати годам от горя и нужды превратившаяся в старуху, а сегодня утром неумолимый старик в форменной фуражке в пятый раз принёс колющую глаза бумажку с четырёхзначной цифрой неуплаченного налога». А другой «просто растерявшийся русский интеллигент, днём чинит трамвайные пути, вечером набивает папиросы, а ночью до утра думает о семье, застрявшей не то в Ростове, не то в Керчи». И он тоже среди них, ничем не отличим от них, Иван Савин. «Теперь вот — копоть завода и тоже нищета».

У старших было прошлое, была жизнь. А у молодых? У тех, кто до войны ничего не успел прожить, тех, кто прямо с гимназической скамьи прыгнул не в жизнь с её восходами, закатами и соловьями, а в нечто кошмарное, жуткое, в болото, сочащееся кровью, в стоны и трупный запах? «А у нас ничего не

было, нет и не будет. Только до крика натянуты нервы. Мы все теперь сумасшедшие. Те, кого называют новым поколением». «Молодости у нас нет, мы колоссально ограблены судьбой».

Но что-то всё-таки должно быть, какая-то жизнь, какая-то память. И любовь ведь была.

«Мой затерявшийся в бескрайних полях город, такой старомодный, такой пыльный, такой прелестный... Широкие улицы, еле сдерживаемые рядами хрупких домов: прозрачные глаза окон, днём — серые, с белыми ресницами дрожащих занавесок, вечером — тёмно-тёмно-синие, с яркими зрачками керосиновых ламп. Кривые доски тротуаров: над ними зелёные, мохнатые руки клёнов и лип. Старый, сгорбленный собор над обрывом. Жизнь радушная, тёплая, как солнце. Солнце, как жизнь...»

Не надо больше нового, новое ужасно. Так просит, так молит душа. Верните старое, хотя бы кусочек старого, того старого, где не убивали, не мучили, не расстреливали, не заставляли рыть могилы, где было тепло, где все были живы и была Россия.

Его воспалённая болью проза мучает читателя и сегодня, через 100 лет после того, как он писал её в съёмном углу в мутном (по его словам), поросшем соснами, усеянном розовым гранитом Гельсингфорсе. А каково было ему писать? Кажется, как можно жить с такой постоянной, острой, кровоточащей болью? Да вот и нельзя.

«Бог воскресает везде, где есть боль. А здесь её так много. Здесь её слишком много, Колинька». Так говорит одна из его героинь.

Да что толку-то, что Бог воскресает? Где он воскресает, как? Как к этому Богу прорваться через самого себя, через ту плиту, которой придавила тебя твоя собственная память, вместившая столько ужаса?

«Издевались не только над живыми, но и над мёртвыми. Помню, расстреляли одного мичмана; жена принесла труп мужа в больницу, смыла кровь, одела для похорон, а на следующее утро труп стоял в углу, совершенно голый, с папиросой в мёртвом рту. Опять мичман был одет и положен в гроб, и опять та же история — труп в углу, а лежавший в той же больнице пьяный матрос сказал с хохотом несчастной женщине: долго мы перед вами вытягивались, пускай теперь он постоит, а мы полежим».

Есть и страшнее сцены в его прозе. Есть такая жестокость, от которой костенеет душа и нет слов. Всё это он видел, всё это он узнал, всё это он ощутил больным помутившимся сознанием, избитым, голодным, замерзающим телом, которое тщетно пытался укрыть, натянув на себя подобранный где-то мешок. И пишет об этом. Мы здесь этих сцен приводить не будем — пришлось бы цитировать страницами. Да и к чему топить читателя в ужасе? Захочет, сможет — сам прочтёт.

Как с этим жить? Даже и палачу — как? В одном из рассказов хочет «выплюнуть с кровью из души всю гнусность» следователь губчека Хорев, но не получается выплюнуть. Что остаётся? Залить память денатуратом? Застрелиться?

Вот его герои: Ольга, в Гельсингфорсе умирающая от разрыва

сердца, получив письмо из России от любимого, в котором он с мукой, с болью говорит ей, что всё кончено, он теперь с другой; тихий чиновник Павел Харитонович, построивший домик, куда после революции поделяют ему сволочь, которая над ним издевается и выселяет его с женой и двумя собачками в сарай; ёлочные игрушки — кавалергард с оторванной ногой, музыкант с одним глазом (второй выбили гвоздём), дамы в лохмотьях, чьи алые платья пошли на флаги, балерина с синяком на плече, плачущие: «Верни нам былое! Верни нам прошлую, сияющую, всю затканную огнями ёлку!»

Как это всё жестоко, безжалостно, больно... Как больно читать в его газетной статье обращение нескольких сотен инвалидов Белой армии, очутившихся на чужбине, в котором они просят о помощи. А сами помочь себе не могут: нет у них рук, ног, глаз. Есть у него и купец Семён Потапыч Лапин, восставший из мёртвых, чтобы явиться в харчевню в своём городке, не понять слов «исполком» и «декрет», съесть поросёнка и свалиться со стула с разрывом сердца, узнав от малого, что платить нужно 2 миллиона 200 тысяч рублей. А ещё изголодавшаяся генеральша Клавдия Алексеевна, которая продаёт шнурки на толкучке. Её мужа генерала убила толпа. С ней в квартире живёт — не живёт, умирает от голода — бульдог Буль. Мучительно умирают человек и собака.

В выходные дни он ездил в Териоки, когда-то модное дачное место русской интеллигенции, ходил мимо заброшенных, разгромленных, осквернённых дач. Когда-то тут была жизнь. А теперь — разбитые стекла, сорванные двери, обвалившиеся потолки. Потом шёл к реке. За ней — СССР.



Вокзал Терийоки. Фото: pastvu.com

«Я провожу мирные, так похожие друг на друга дни. Лёжа на песке, смотрю на русское небо — у самой Сестры-реки, буквально в пяти шагах от СССР. Что скрывать: как и приличествует белогвардейцу, в шести чеках побывавшему, первые дни жутковато бывало. Перейдёт некий товарищ речонку — аршина три в ширину, поларшина в глубину, везде брод, — и создаст «дипломатический инцидент», попутно потащив раба Божия, собкора «Руля» и прочих в пределы райские склоку партийную и художества сталинские на месте описывать...» Но никто не переходил речку, никто не тащил его в плен, в тишине и молчании он долго глядел на ту сторону. «Если пройти к устью Сестры, бурным потоком вливающейся в спокойные воды залива, отчётливо виден Кронштадт. Видна вышка

сестрорецкого курзала, крыши дач. По вечерам отчётливо слышна музыка. В праздничные дни ветер приносит с юга ясный гул колокола. Не знаю почему, но так безотчётно грустно, так больно слышать и весёлый грохот оркестра, и нежное пенье колокольное... Непередаваемо тяжело слышать, видеть Россию — такую близкую — всего три шага — там, за зелёными фуражками...»

Россию? Но это не Россия. «А России ведь нынче — нет. Пусть горько, очень горько, но — нет. СССР — не Россия, это надо признать и понять. Война превратила нашу страну — какая это была страна! — в царство крови и блуда».

Раскол, разделение прошли по сердцам. Банальной может показаться эта фраза, но что делать, если правда — разрез прошёл точно по сердцу Ивана Савина. Из письма, полученного из России, он узнал, что Шура К., надеждой на встречу с которой он жил все годы войны, вышла замуж.

«Знаю, что Шура К. вышла замуж, знаю когда и за кого. Но почему я живу ещё все-таки — не знаю. И как можно жить с такой раной навывлет — я не знаю... Много недель мне было просто больно дышать; теперь я боюсь ходить — всё мне кажется, что я стеклянный, что упаду и разобьюсь. Поймите, родная наша, — можно перенести смерть, гибель мечты; но если мечту, единственную, неповторную, если цель и оправдание всей жизни

закопали в землю живой, предварительно изнасиловав её, — это разве перенесёшь? Если она кричит день и ночь, и знаешь, что ничем не поможешь, не разроешь гнетущую, давящую её землю».

«Вы не знали Её. Не знали Ту, о Ком я не могу даже думать с маленькой буквы. Вы не знали, что в Её улыбке, в глазах, в руке, в походке — такая невыносимая нежность, что даже теперь, вспоминая, я крепко держусь за стол, чтобы не упасть, не зашататься в приливе ненужного уже зноя».

Называет её «бедная не-моя», «хорошая не-моя» — и зовёт приехать.

«Этого, конечно, никогда, кажется, не будет, но я иногда, в часы нечеловеческого страдания, думаю: а вдруг позовёт? Вдруг захочет стать прежней? Пусть немедленно <неразборчиво> обратится ко мне: я всё прощу и пойму, как прощаю теперь всё, не понимая. Я один никогда, ни за что, даже тогда, когда все так называемые порядочные люди заплюют Её, не брошу в Неё камнем, поделюсь последним, отдам последнее. Если захочет сюда, даже теперь, сейчас, сию минуту — да благословит Бог её пришествие. Я сделаю всё возможное, всё необходимое для этого; я вышлю всё нужное; я приложу все усилия к этому, чтобы Она отдохнула здесь, забыла всё, стала истинно прежней; я дам Ей мудрую,

тихую, прекрасную жизнь, дам честное имя, маленькую пока — славу и такую сверкающую любовь, что по-прежнему, по-далёкому улыбнётся Она, радость моя единственная, последняя, бесконечная. Скажите Ей это, скажите!»

Сам знает, что тщетны его слова.

В декабре 1926 года в газете «Новый нарвский листок», где публиковались очерки, рассказы и стихи Савина, появилось сообщение о том, что он, «имя которого голубой ласковой звездой сияло в нашей эмигрантской печати», болен острой неврастенией.

«Ивану Савину всего только двадцать пять лет, но сколько пережил, сказать страшно! Прошёл через огни и ужасы освободительной войны, лишился близких, расстрелянных большевиками, подорвал своё здоровье... Но, Бог даст, всё кончится благополучно».

Благополучно? Слабая, бессильная надежда в море горя.

Была большая семья в провинциальном городе, дружная семья: шесть братьев, две сестры, мать, которую они любили. Ничего не осталось от дома, от юности, от семьи. «Черноглазой сестрёнки моей Нади — нет. Никого нет» (из письма). «Все могилы родимые стёрты. Никого, никого не найти».



Валаам. Фото: valaam.ru

Мы не знаем, что тут было, ошибка хирурга или небрежность операционной сестры, знаем только, что после обычной, рутинной операции удаления аппендицита началось заражение крови. И тут же диагноз — помочь ничем нельзя. О чём он думал в свои последние дни, когда сознание то уплывало, то возвращалось? Что вспоминал? Дороги, по которым когда-то шёл по России? Ужасные картины плена, дрожащего всем телом голого калмыка, на которого он упал, когда его самого — больного, изнемогающего — ударили в лицо? Пленных, которых на его глазах член Реввоенсовета 13-й армии нагайкой сшибал с моста в реку, а другие стреляли в них сверху? Или маленький скит на финском в те годы Валааме, куда плавал на пароходе из Сердобля?



«В нескольких шагах от храма — могила, вырытая отцом Ефремом для себя самого. В бедной келье его вместо кровати — чёрный гроб с выжженным на крышке скелетом. «А вам не жутко спать здесь?» — вырвалось у меня. Улыбнулся отец Ефрем: «Почему же жутко? Смерть — радость! Умерев, я увижу Христа».

Смерть — радость. Как поверить в это? Но надо поверить.

Там, на Валааме, в вышине скал над синим зеркалом озера, в солнечном свете, струящемся через верхушки сосен, он стоял высоко в небе. А рядом — монах, схимник, из тех, что не признали нового летоисчисления, введённого в Финляндии. За это их наказывали, отнимали клобуки, снимали с них одежды схимников — раздевали. «Мой проводник, тоже «раздетый», долго крестится, думая о чём-то, говорит: «А какой слух из России идет?.. Когда там опять по-Божьему станет?..»

Что я скажу ему?..»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:



[«Ведь мы никогда не умрем»](#)

На всех фотографиях у Замятина — улыбка человека, который не способен на интриги, подлость и насилие

17:33, 5 января 2024, Алексей Поликовский



[«На той войне»](#)

Жизнь и стихи младшего лейтенанта Левина

17:20, 10 января 2024, Алексей Поликовский